

И. Бунин

Бунин в своих дневниках

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
Б91

Б91 **Бунин И.А.**
Бунин в своих дневниках / И. Бунин – М.: Книга по Требованию, 2022. – 188 с.

ISBN 978-5-4241-2790-8

Писательница и последняя любовь Бунина Галина Кузнецова рассказывает в своей книге "Грасский дневник":

"Зашла перед обедом в кабинет. И(ван) А(лексеевич) лежит и читает статью Полнера о дневниках С. А. Толстой. Прочел мне кое-какие выписки (о ревности С. А., о том, что она ревновала ко всему: к книгам, к народу, к прошлому, к будущему, к московским дамам, к той женщине, которую Толстой когда-то еще непременно должен был встретить), потом отложил книгу и стал восхищаться:

- Нет, это отлично! Надо непременно воспользоваться этим, как литературным материалом..."К народу, к прошлому, к будущему..." Замечательно! И как хорошо сказано, что она была "промокаема для всех неприятностей!"

А немного погодя:

- И вообще нет ничего лучше дневника. Как ни описывают Софью Андреевну, в дневнике лучше видно. Тут жизнь, как она есть - всего насовано. Нет ничего лучше дневников - все остальное брехня!" (запись от 28 декабря 1928 года).

Конечно, категоричность этого (как и многих иных) утверждения объясняется обычной страстностью Бунина. Но верно и другое: дневник как способ самовыражения он ценил необычайно высоко и недаром сам писал: "...дневник одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие" (запись от 23 февраля 1916 года).

И вот перед нами бунинские дневники, охватывающие более семи десятилетий его жизни.

ISBN 978-5-4241-2790-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022
© И.А. Бунин, 2022

Иван Алексеевич Бунин
Бунин в своих дневниках

*Молчат гробницы, мумии и кости.
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом пого-
сте.
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и стра-
данья,
Наш дар бессмертный – речь.
7.1.15.*

Писательница и последняя любовь Бунина Галина Кузнецова рассказывает в своей книге "Грасский дневник":

"Зашла перед обедом в кабинет. И(ван) А(лексеевич) лежит и читает статью Полнера о дневниках С. А. Толстой. Прочел мне кое-какие выписки (о ревности С. А., о том, что она ревновала ко всему: к книгам, к народу, к прошлому, к будущему, к московским дамам, к той женщине, которую Толстой когда-то еще непременно должен был встретить), потом отложил книгу и стал восхищаться:

– Нет, это отлично! Надо непременно воспользоваться этим, как литературным материалом... "К народу, к прошлому, к будущему..." Замечательно! И как хорошо сказано, что она была "промокаема для всех неприятностей!"

А немного погодя:

– И вообще нет ничего лучше дневника. Как ни описывают Софью Андреевну, в дневнике лучше видно. Тут жизнь, как она есть – всего насовано. Нет ничего лучше дневников – все остальное брехня!" (запись от 28 декабря 1928 года).

Конечно, категоричность этого (как и многих иных) утверждения объясняется обычной страстностью Бунина. Но верно и другое: дневник как способ самовыражения он ценил необычайно высоко и недаром сам писал:

«...дневник одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие» (запись от 23 февраля 1916 года).

И вот перед нами бунинские дневники, охватывающие более семи десятилетий его жизни.

От полудетской влюбленности пятнадцатилетнего юноши в гувернантку соседа-помещика Эмилию Фехнер и до последних, предсмертных ощущений и мыслей ведет, правда, с большими перерывами, Бунин книгу своего пребывания на земле. Замкнутый, можно даже сказать, всю жизнь одинокий, редко и трудно допускавший кого-либо в свое "святая святых" – внутренний мир, Бунин в дневниках с предельной искренностью и исповедальной силой раскрывает свое "я" как человек и художник, доверяет дневникам самые заветные мысли и переживания. Он выражает в них свою преданность искусству, выявляет высочайшую степень своей слиянности с природой, остро, почти болезненно чувствуя ее, ее красоту, увядание, возрождение, говорит о муках творчества, о предназначении человека, тайне его жизни, выражает собственное страстное жизнелюбие и протест против неизбежности смерти. Это и замечательный, с контрастными светотенями, автопортрет, и "философский камень", погружающий читателя в глубины бунинских замыслов, и свидетельства зоркого пристрастного очевидца исторических событий (переданных в резко субъективных тонах), и стройная эстетическая программа.

Дневники дают нам – с невозможной ранее полнотой и достоверностью полученное "из первых рук" представление о целом мироощущении Бунина, доносят непрерывный, слитый воедино "восторг и ужас бытия", наполненного для него постоянными "думами об уходящей жизни" (запись от 21 августа 1914 года). Его возмущает отношение к жизни и смерти на уровне спасительного эгоистического инстинкта, которым в большинстве своем довольствуется в своих трудах и днях человек, его "тупое отношение" к смерти. "А ведь кто не ценит жизни,- пишет он там же,- животное, грош ему цена".

Очень многие записи по сути своей – отдельные и законченные художественные произведения, с собственным сюжетом, композицией и глубоким внутренним смысловым наполнением, в редкостной для Бунина крайне исповедальной форме. Например, запись от 27 июля 1917 года. Она открывается опорной фразой: "Счастливей прекрасный день". Кажется, именно об этом – о счастье, о красоте бытия и пойдет речь. Но то лишь вступительный мажорный аккорд. Вся же запись словно небольшое симфоническое произведение, как и полагается этому жанру, трехчастное. Лирическая, спокойная – первая часть,- умиротворяющий, простой старинный быт, смирение с неизбежностью ухода из жизни, подобно сонму предшествующих, ставших "только смутными образами, только моим воображением", которые, однако, "всегда со мною, близки и дороги, всегда волнуют меня очарованием прошлого". Затем картина роскошной летней природы, радостный и яркий солнечный свет, густота сада, отдаленные крики петухов,- все, что по-нуждает Бунина еще острее ощутить краткость и бедность человеческой жизни вообще (лейтмотив всех дневниковых записей). Слышна песенка девочки трогательной в своей малости кухаркиной дочки, которая "все бродит под моими окнами в надежде найти что-нибудь, дающее непонятную, но великую радость ее бедному существованию в этом никому из нас непонятном, а все-таки очаровательном земном мире: какой-нибудь пузырек, спичечную коробку с картинкой". Эта, вторая часть, идет весело, оживленно, хотя уже подступают мерно торже-

ственные звуки вечности – все проходит: "Я слушаю эту песенку, а думаю о том, как вырастет эта девочка и узнает в свой срок все то, что когда-то и у меня было, - молодость, любовь, надежды". И вдруг мрачно, торжественно-тяжело – переход к Тиверии, жестокому и страшному тирану, Цезарю ("Почему о Тиверии? Очень странно, но мы невольны в своих думах"). Какой перелет воображения! Тиверий близок и понятен Бунину, как вот эта бедная девочка, ибо жил он "в сущности очень недавно, - назад всего сорок моих жизней, - и очень, очень немногим отличался от меня...". Под окном бродит, напевая, кухаркина дочь, а Бунин пишет: "Вижу, как сидит он в легкой белой одежде, с крупными голыми ногами в зеленоватой шерсти, высокий, рыжий, только что выбритый, и щурится, глядя на блестящий под солнцем, горячий мозаичный пол атрия, на котором лежит, дремлет и порой встряхивает головой, стоняя с острых ушей мух, его любимая собака..." Вступает третья часть, тема человеческой истории, далекого и вдруг очень близкого прошлого.

Тема эта, тема Тиверия, жила в Бунине, кстати, еще тридцать лет, пока в рассказе "Возвращаясь в Рим..." он не поставил точку: "Перед смертью он отправился в Рим. По пути остановился в Тускулуме, - испугался: его любимая змея, которую он всегда возил с собою, была съедена муравьями... Цезарь очнулся, спросил косноязычно: "Где перстень?" Калигула трясся от страха. Макрон бросил на лицо Цезаря одеяло и быстро задушил его". Но это будет написано, в лапидарной пушкинской стилистике, в 1936 году, а в дневниковой записи Бунин от Тиверия вновь возвращается к тому, с чего он начал: красота летней природы – перед дождем; начало ливня; дождь до утра, внезапно напомнивший "детство, свежесть и радость первых дней жизни".

Это выглядит умиротворяющим эпилогом, несущим пусть временное, но забвение жгучих мыслей о происходящем там, в Петрограде семнадцатого года, да и по всей вздыбленной России, которую очень скоро один советский писатель, уже с другого берега огненной реки, назовет: "Россия, кровью умытая". И подчеркнуто холодная концовка: "Опять прошел день. Как быстро и как опять бесплодно!"

Скрытая сюжетная пружина сжимает начало и конец – два полюса: счастливо, прекрасно – и безвозвратно утеряно, бесплодно. Разве не законченное произведение? Но что перед нами? Рассказ? Нет, нечто большее, обьяввшее многое, что рассказу недоступно уже в силу условности сложившейся литературной формы. Вспомним, как резко протестует Бунин против этой условности, например, в этюде-размышлении 1924 года "Книга": "А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука – вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!" И кажется, лишь в дневнике Бунин находит такие неожиданные смелые связи.

Свобода переходов, доступная, пожалуй, только сновидению, но, в отличие от него, несущая и генерализующую, скрепляющую идею. Тут и стихотворение в прозе, и философские ламентации, и неожиданно вписывающаяся в контекст грозного времени тень тирана Тиверия, и песенка маленькой девочки, - все вместе. А ведь меньше трех страничек машинописного текста!

Что касается пейзажных картин в дневниках, то они подчас не уступают в изобразительной силе лучшим бунинским рассказам. Только, пожалуй, еще более настойчиво, чем в "чистой" прозе, проводится (на протяжении десятилетий!) контраст между величием и красотой природы и убожеством, грязью, нищетой, жестокостью, даже дикостью деревенского человека, глубоко прячущего и стесняющегося своих добрых чувств как чего-то потаенного, запретного.

Навестив 108-летнего Таганка, живущего в богатой крестьянской семье, Бунин с горечью отмечает: "И чего тут выдумывать рассказы – достаточно написать хоть одну нашу прогулку". И вправду, "невдуманное" страшнее написанного. В выросшем из этой "прогулки" прекрасном рассказе "Древний человек" (законченном уже через три дня-8 июля 1911 года) трагизм все-таки смягчен "формой" пространными диалогами, художественными подробностями, тюканьем сверчка, появлением дымчатой кошки ("сбежала на землю – и стала невидима"). Здесь же, в дневнике, ничто не отвлекает от главного, все обнажено до степени телеграфной строки, извещающей о человеческой беде: сам Таганок – "милый, трогательный, детски простой" и – "Ему не дают есть, не дают чаю – ничтожности жалуют"..."

В прекрасном мире, на прекрасной земле живут доведенные или доведшие себя до отчаянного положения люди – Лопата, оголтело пропивающий землю и мельницу, себя; отец бессмысленно убитого Ваньки Цыпляева ("Шея клетчатая, пробковая. Рот – спеченная дыра, ноздри тоже, в углах глаз белый гной") или тот мальчишка-идиот у Рогулина, который бьет конфоркой от самовара об стену "и с радостно-жуткой улыбкой к уху ее". И тут же: "Бор от дождя стал лохматый, мох на соснах разбух, местами висит, как волосы, местами бледно-зеленый, местами коралловый. К верхушкам сосны краснеют стволами, - точно озаренные предвечерним солнцем (которого на самом деле нет). Молодые сосенки прелестного болотно-зеленого цвета, а самые маленькие – точно паникадила в кисее с блестками (капли дождя). Бронзовые, спаленные солнцем веточки на земле. Калина. Фиолетовый вереск. Черная ольха. Туманно-сизые ягоды на можжевельнике". И вот еще одно и немаловажное значение дневников. Оказывается, в них откладывались не только сюжеты, материал, подробности будущих рассказов и повестей (скажем, генеалогия душевно нездоровых бунинских предков, ставшая потом фабульной основой "Суходола"), но и выкристаллизовываются, отливаются почти готовые формулы для будущих стихотворных строк. Через одиннадцать дней после этой записи, 23 июля 1912 года, появляется стихотворение "Псковский бор", с его эффектной и уже знакомой нам концовкой:

*И ягоды туманно-сини
На можжевельнике сухом.*

Возвращаясь к одной из главных тем дневников Бунина – теме смысла жизни перед неизбежным приходом смерти, – следует сказать, что русский человек, русский крестьянин воспринимается им, однако, не просто через "тупое отношение" к тайнам бытия (прочитайте хотя бы такие бунинские рассказы, как "Худая трава", "Веселый двор"). Все было, конечно, гораздо сложнее и достойнее огромного бунинского таланта. Как отмечал один из зарубежных исследователей, "Бунин неоднократно, с какой-то нарочитой настойчивостью обращается к теме смерти в применении к русскому простому православному человеку – и останавливается перед ней в недоумении. Он останавливается перед общечеловеческой тайной смерти, не смея в нее проникнуть – но одновременно перед ним встает и другая тайна: тайна отношения к смерти русского человека. Что это – величие, недоступное его, писателя, пониманию – или это варварство, дикость, язычество?"*.

Ответа на этот вопрос Бунин, кажется, так и не находит. Впрочем, вероятно, рационального, логического ответа и не может быть найдено. Однако жалкость человеческого прозябания вообще, несправедливость такой жизни, которая просто недостойна породившей ее природы, – неотступно волнует его. Отсюда мысль его распространяется дальше и выше, достигая размахов диалога со Вселенной, космосом, в трагическом, неразрешимом противоречии между вечной красотой земного мира и краткостью "гощения" в этом мире человека.

1 июня 1924 года в Грасе, на юге Франции, заносит в дневник: "Лежал, читал, потом посмотрел на Эстерель, на его хребты в солнечной дымке... Боже мой, ведь буквально, буквально было все это и при римлянах! Для этого Эстереля и еще тысячу лет ровно ничего, а для меня еще год долгой со счета – истинный ужас! И чувство это еще ужаснее от того, что я так беспечно счастлив, что Бог дал мне жить среди этой красоты. Кто же знает, не последнее ли это мое лето не только здесь, но и вообще на земле!" Из одиноких, горестных и с годами, в изгнании, все обостряющихся размышлений, доверяемых дневникам, это прорывается в творчество, прорастает в такие шедевры, как, например, пронзительно исповедальный рассказ "Мистраль".

Дневники – и это, пожалуй, главное – дают нам как бы "нового" Бунина, укрупняя личность художника. В то же время они еще резче подчеркивают его бытовую, житейскую "неприкаянность". Он, дворянин с многовековой родословной, любивший вспоминать, что делали его предки в XVIII, а что-в XVII столетии, - вечный странник, не имеющий своего угла. Как ушел из родного дома девятнадцати лет, так и мыкал "гостем" всю жизнь: то в Орле, то в Харькове у брата Юлия, то в Полтаве среди толстовцев, то в Москве и Петербурге – по гостиницам, то близ Чехова в Ялте, то у брата Евгения в Васильевском, то у писателя Федорова в Одессе, то на Капри с Горьким, то в длительных, месяцами продолжавшихся путешествиях по белу свету (особенно влекомый к истокам древних цивилизаций или даже на мифическую прародину человечества), наконец, в эмиграции, с ее уже "узаконенной бездомностью", с уже повторяющимся трагическим рефреном:

"Ах, если бы перестать странствовать с квартиры на квартиру! Когда всю жизнь ведешь так, как я, особенно чувствуешь эту жизнь, это земное существование как временное пребывание на какой-то узловой станции!" (запись в дневнике от 9 сентября 1924 года).

Дневники доносят нам отзвуки бушевавших в жизни Бунина страстей. Под датой 4 ноября 1894 года читаем: "бегство В.". В глухой, "запечатанной" форме Бунин говорит об окончательном разрыве с В. В. Пашенко (1870-1918), мучительный роман с которой оставил неизгладимый отпечаток в его душе, вызвал к жизни позднейший рассказ "В ночном море" (1924) и образ Лики в "Жизни Арсеньева". О силе и глубине этого чувства рассказывают многочисленные письма Бунина к любимому, старшему брату Юлию Алексеевичу ("Я приехал в орловскую гостиницу совсем не помня себя. Нервы, что ли, только я рыдал в номере, как собака, и настроил ей предикое письмо: я, ей-Богу, почти не помню его. Помню только, что умолял хоть минутами любить, а месяцами ненавидеть. Письмо сейчас же отослал и прилег на диван. Закрою глаза – слышу громкие голоса, шорох платья около меня... Даже вскочу... Голова горит, мысли путаются, руки холодные просто смерть! Вдруг стук – письмо! Впоследствии я от ее брата узнал, что она плакала и не знала, что делать" и т. д.). Против брака был решительно настроен отец Пашенко, считавший, что Бунин, человек без средств, без образования, без профессии, не создаст

* Зайцев Б. К. И. А. Бунин: Жизнь и творчество.- Берлин, 1935.-С. 76.

сных условий для дочери. Впрочем, и сама Пашенко, видимо, в прочности своего чувства не была уверена. Отношения тянулись, перемежаясь ссорами и разрывами, более четырех лет. 4 ноября 1894 года Пашенко покинула Полтаву, где они тогда жили с Буниным, оставив записку: "Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом". В следующем же году она вышла замуж за приятеля Бунина А. Н. Бибикова. Не поэтический ли отзвук этих событий мы найдем в известном стихотворении 1903 года "Одиночество":

Но для женщины прошлого нет:

Разлюбила – и стал ей чужой.

Все-таки свет любви к Пашенко был для Бунина главной, всезатмевающей

звездой; это подтверждается и признанием, единственным в его биографии: "мое чувство к тебе было и есть жизнью для меня". Преображенные продолжения чувства в творчестве были многообразны и неожиданны, вплоть до трагических переживаний Мити (повесть 1927 года "Митина любовь").

В конспект дневника за 1898 год Бунин заносит: "23 сентября – свадьба. Жили на Херсонской» улице, во дворе. Вуаль, ее глаза за ней (черной)". Речь идет о женитьбе Бунина на А. Н. Цакни (1879-1963). Когда, уже в 1932 году, в Грасе Галина Кузнецова расспрашивала его о Цакни, он рассказал, что "она была еще совсем девочка, весной кончившая гимназию, а осенью вышедшая за него замуж. Он говорит, что не знает, как это вышло, что он женился. Он был знаком несколько дней и неожиданно сделал предложение, которое и было принято. Ему было 27 лет"*.

Недоразумения и ссоры начались скоро. Бунин исповедуется (в 1899 году) своему брату Юлию Алексеевичу: "Буквально с самого моего приезда Аня не посидела со мной и получасу – входит в нашу комнату только переодеться <...> Ссоримся чрезвычайно часто <...> Для чего я живу тут? Что же я за презренный идиот – нахлебник. Но главное – она беременна <...> Юлий, пожалей меня. Я едва хожу. Ничего не пишу, нельзя от гама и от настроения. Задавил себя, ноне хватает сил – она груба на самые мои горячие нежности. Я расшибу ее когда-нибудь. А между тем иной раз сильно люблю". От этого брака родился единственный сын Бунина Коля, умерший пяти лет после скарлатины. Можно подумать, что Анна Николаевна Цакни не могла оставить сколько-нибудь глубокого следа в бунинской душе. Но вот когда этот заведомо неудачный брак распался, как, оказывается, мучился Бунин, как тяжело страдал от чувства утраты! И вовсе не случайная неожиданная на первый взгляд запись от 17 сентября 1933 года (через тридцать три года после разрыва с Цакни!):

"Видел во сне Аню с таинственностью готовящейся близости. Все вспоминаю, как бывал у нее в Одессе – и такая жалость, что... А теперь навеки непоправимо. И она уже старая женщина, и я уже не тот". В. Н. Муромцева-Бунина не без оснований утверждает, что роковую роль в отношениях молодоженов сыграла теща Бунина и мачеха Анны Александровны Элеонора Павловна, которая испытывала к своему зятю тайную страсть...

10 апреля 1907 года новая запись: "отъезд с В«ерой» в Палестину". В жизнь Бунина вошла Вера Николаевна Муромцева (1881-1961), которая стала его добрым гением, ангелом-хранителем и верным другом. Этот брак уже иной: чувство и рассудок теперь уравновешены. Бунину, безусловно, нравится "его Вера", но он видит и другое: прекрасная дворянско-профессорская старомосковская семья; уютный особняк на Большой Никитской; сама невеста учится на естественном факультете Высших женских курсов. Современники в один голос говорят, что она была хороша собой, красотой несколько застывшей – в ней находили облик мадонны. Это же подтверждают фотографии и портреты. Но какова она была внутренне? Ровная, спокойная, рассудительная. Вот свидетельство друга Бунинских писателя Б. К. Зайцева. 12 мая 1961 года он писал мне: "Вы, вероятно, знаете, что скончалась В. Н. Бунина, от неожиданно проявившейся сердечной болезни. Моя больная жена очень это тяжело приняла, они были приятельницами с юных лет, еще по Москве. В нашей квартире Вера и с Иваном Алексеевичем встретилась. Она была хорошая женщина, много добра делала, всегда была несколько вялая и малокровная, в молодости очень красивая, но всегда холодно-